

ПЕТР
СЕВЕРОВ
МОРСКИЕ
ВСТРЕЧИ

ПЕТР
СЕВЕРОВ

МОРСКИЕ
ВСТРЕЧИ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1986

ББК 84.Р7
С 28

Художник Евгений Дробязин

Северов П. Ф.

С 28 Морские встречи: Повести, рассказы. М., Советский писатель, 1986. — 480 с.

С рассказами и повестями киевского писателя-мариниста Петра Северова читатели знакомы по книгам «Морские встречи» и «В морских просторах», выпущенным издательством «Советский писатель» в разные годы. В сборник «Морские встречи» вошли одноименная повесть, а также повести «Поручение», «Доверие» и рассказы трех циклов — «В дальнем плавании», «Японские силуэты», «Гул океана».

С $\frac{4702010200-418}{083(02)-86}$ 135—86

ББК 84.Р7



ПЕТР
СЕВЕРОВ
НОРСКИЕ
ВСТРЕЧИ



В ДАБНЕ

ПЛАВАНИИ

АПЕЛЬСИННАЯ КОРКА

У меня богатая коллекция в сундучке. Я храню ее четыре года. После вахты, в кубрике, лежа на койке, я люблю перебирать в памяти свое богатство. Оно у меня — невидимка. В сундучке хранятся только ключи. Стоит прикоснуться к любой из вещей — и, как в лесу, в памяти открываются просеки и поляны.

Случалось, скитаясь на пристанях и в портах, я готов был продать свой волшебный сундучок. Многих мучений стоила эта решимость. Но идиот-старьевщик предложил мне три рубля. Другие просто смеялись. В то время я мечтал о встрече с писателем, писатель уж наверняка купил бы мой сундучок. Мне, однако, не везло: не так-то легко, оказалось, избавиться от волшебных вещей.

Но каждый раз, когда снова устраивалась жизнь, я радовался тому, что моя коллекция сохранилась.

Вот она и сейчас передо мной: костяной амулет, подаренный чукчей на Командорах. Ветка алоэ — память Перима, и столько всякой всячины у меня в сундучке — раковины, камни, ножи, — тихие спутники мои в дорогах. Все это собралось незаметно, хотя я знаю цену каждой из этих вещей и даже во сне подчас беседую с ними. Они возвращают меня на дальние знакомые пути. Поговорим же, сундучок, о юге; вот апельсиновая корка лежит в моей руке, — поговорим о юге и о любви.

Я взбегаю на палубу. Море в закате, светлое, сквозное, и контур острова поднимается на горизонте, как облако, и плывет к нам.

— Это — явление рефракции, — говорит второй штурман Саша Холод. Он любит научные слова.

...Есть тревожная радость в ожидании берега. Он всегда обещает что-то. Пусть только гребень прибоя или цвет скал, но и этого много в синей пустыне.

На люке трюма сидят кочегары. Сейчас сменилась вахта. Разговор, конечно, опять об Одессе, — удивительный город, за полгода разлуки не все еще рассказано о нем.

— Это тоже явление рефракции, Саша, — говорю я. — Прищуришь глаза — и Одесса на горизонте!

Улыбаясь, он смотрит вдаль...

Белая пена плывет за бортом. Глухо гудит машина. Ключья дыма улетают на юг...

Жизнь идет своим привычным чередом. Дни одинаковы; сегодня — как вчера: море, небо. Слышен только один новый голос — это в кочегарском кубрике поет Яша. Он все время поет; курчавый ребенок с медной серьгой в ухе и кривым ножом на пояске. В пяти часах пути от Алжира мы сняли его с обломка мачты: запутавшись в обрывках снастей, он барахтался на высокой волне.

Мы прозвали его Яшей, и он смеялся, ему нравилось это русское имя. Дружба на корабле рождается быстро, и, хотя люди по-разному учатся морю, она прочна. Эти двое суток в пути Яша все время пел о своих товарищах со шхуны, которых не встретит больше ни в каком порту.

Здесь, на Родосе, мы должны проститься с ним. Он неохотно покидает пароход. Ничего хорошего не обещает ему берег. Но он все время поет, из благодарности, — он знает, что и нам нравятся эти чужие, печальные песни, что и нам немного грустно в эти минуты разлуки.

Выходя из кубрика, он с беспокойством поглядывает на берег: в синеватом массиве уже проясняются выступы, расселины, нагромождения скал.

...Девушку на берегу увидели все сразу. Берег был близко — синий, мертвый: ни дерева, ни травы. Тяжелые смытые скалы лежали в прибое. Девушка, золотая от заката, стояла на скале, на крутом мысе, и дальше, за нею, не было ничего — ни отсветов, ни неба, ни туч.

Такой он страшный с моря и пустой, этот остров Родос, в слабых очертаниях, в дыму, в медленном пожаре глины, что была просто удивительна девушка на берегу.

И сразу на палубе все повернулись к ней. Штурман на мостике остановился у перил. Повар на секунду застыл с тазом в поднятой руке. Молча встали кочегары.

В этих местах никогда, наверное, не останавливался пароход. Только рыбаки подходят к маяку за мысом. Но девушка ждала нас... Почему-то я был уверен в этом. Когда затихла машина и громыхнул якорный канат, — прыгая по камням, она подбежала к прибою. Длинный желтый шарф развеялся над ней, и вся она была легкая и гибкая, как пламя.

Я заметил, что шлюпку мы спускали на этот раз особенно бережно и легко. Неслышное от привычки, теперь громко шумело море. Половина команды столпилась у штурмтрапа, но повезло двум матросам — Гричаку и мне; спустился в шлюпку Яша; четвертым сел боцман. Мы отвалили от борта, и волна сама понесла нас. На палубе смеялись, махали нам кепками, и Яша, большой ребенок, выгирал пудовыми кулаками глаза. Он плакал и все повторял на своем певучем языке, что слишком оно тесно — Средиземное

море, что ему лично все равно, куда плыть, и совсем напрасно, черт побери, итальянское радио просило высадить его на Родосе.

Мы дружно гребли к мысу. Гладкая зеленая вода шипела у борта. Соленые брызги летели в лицо. Все дальше относил пароход...

Когда волна заливала корму, мы смотрели на берег. Вся команда была на палубе. Они тоже смотрели на мыс. Кто знает... улыбки бывают так похожи одна на другую, к тому же полгода мы не были в родном городе и два месяца — на берегу. Мы отплыли весной, когда цвели каштаны, шли теплые, душистые дожди; таких дождей больше нигде не бывает — парных, как молоко, — дождей степной Украины. Цветущие каштаны недаром мне снились по ночам.

Боцман сидел у руля. Лохматый, седой, он хмурил брови.

— Куда ни глянь, сплошь камень. Вот и причаливай как хочешь.

И улыбался невольно: вместе с нами он искал девушку среди камней. Она была уже близко. Шлюпка летела вместе с упругим гребнем. Подождав высокой волны, мы выбросились на отмель.

Тотчас девушка подбежала к нам. Яша выпрыгнул на гравий и протянул ей руку. Он был почти вдвое выше ее. Улыбаясь, она сказала что-то. Ее слова заметно удивили Яшу. Теперь мы все стояли против нее, и берег качался под ногами в такт прибою.

— Она приглашает нас в гости, — сказал Яша по-английски. Он все еще улыбался.

Боцман с сожалением оглянулся на пароход. Команда была по-прежнему на палубе. С мостика спускался штурман. Нас не торопили.

— Прогуляться, — оно, Иван Иванович, не мешало бы, — ласково сказал Гричак.

Боцман сердито усмехнулся.

— Только и осталось, что гулять... — он встретился глазами сначала с девушкой, потом с Яшей.

— Ну, а если приглашают — надо. Может, по делу.

Все засмеялись, Яша обнял старика.

По узкой тропинке, между камней, мы пошли вверх, на взгорье. Все было густынно и молчаливо здесь: камень, выжженная солнцем трава. Длинная белая полоска соли лежала на гребне берега. Боцман остановился у нее.

— Видишь, ветер морской остывает, — сказал он и, собрав горсточку соли, зачем-то спрятал ее в карман.

Девушка шла впереди, легкая, сильная; она поминутно оборачивалась и, смеясь, протягивала боцману руку. Иван Иванович улыбался, поглаживал усы и, стараясь шагать бодрее, кланялся, как на сцене. Третьим шел Яша, беззаботный, как всегда. Он знал заранее: ничего он здесь не приобретет, ничего не потеряет...

Мы шли осторожно, нас волновал запах незнакомой земли, ее терпких трав и солнца. За перевалом лежала долина. Дальше синели холмы. Долина до краев была наполнена закатом. И совсем как где-нибудь у нас под Одессой или у Днепра — два высоких тополя стояли на склоне и маленькая белая хатенка между ними.

Мы невольно остановились. Видение Родины было полным!

И одновременно мы посмотрели вверх: такие же, в искрах звезд, и у нас бывают закаты.

Трава здесь была сочнее, тропинка отчетливей. Она вела от домика к маяку.

Все новые приметы чудились мне: невысокий сруб колодца, камень точильный, слабый огонек в окне...

Гричак поминутно останавливался, опускал руки в траву.

— Пырей! — кричал он восторженно. — Да какой сытый!

Боцман посмеивался в усы:

— Ну, хлебороб...

— Да ты тронь ее рукой, боцман, — траву. Как у нас на луговинах: сочная, блестит...

— Что ж, земля — она везде родная.

Правда, так много родного мы видели на этой земле.

Мы остановились у тополей. Теперь они были похожи на огромные черные свечи, — вершины их горели густым текучим огнем.

Девушка сняла перекладину с двери, и мы вошли в темную каморку. На низком подоконнике она зажгла каганец, точно такой, как я ожидал заранее. Комната была похожа на рыбацкий кубрик: скамьи вдоль стен, грубый стол. Рядом, в полутемном углу, висело большое, черное от времени распятие, а напротив — так, что Христос, пожалуй, мог бы увидеть себя — ржавый осколок зеркала в грубой самодельной оправе.

Стол был накрыт бурым брезентом со следами корабельной смолы. В жестяной чашке на нем лежали апельсины, хлеб и рядом стояла бутылка вина.

Мы сели на лавку у двери, но девушка указала на стол. Она подошла к стене, открыла низенький шкаф. На полке лежало еще несколько апельсинов. Больше не было ничего. Она растерянно улыбнулась. Но почти в один голос мы сказали:

— Не надо... Благодарим...

Несколько минут она стояла у шкафа, смущенная, с апельсином в руке. Темные, блестящие глаза ее были печальны. Суровая морщинка обозначилась возле губ.

Боясь обидеть хозяйку, мы присели к столу. Это было старое вино; в нем бродила крутая горечь, древний рыбацкий огонь. Мы пили его большими глотками, оно текло по жилам, веселое, терпкое и ласковое вино.

Гричак сказал задумчиво:

— Красивая... Какие люди бывают, — а?!

— Красивая, — повторила девушка нараспев.

Мы засмеялись. Нам стало вдруг весело; это был наш дом, наша родина.

— Очень хорошо, — сказал Яша, кивая на девушку. — Нужно быть веселым при ней. Души рыбаков не любят, когда по ним плачут.

— Какие души? — удивленно спросил боцман.

— Те, за кого мы пьем.

— А за кого?

— За рыбаков. Это ведь поминки.

Мы поднялись из-за стола. Лицо бодмана побледнело.

— Поминки? — переспросил он.

Итальянец улыбнулся, потрогал серьгу. Я оглянулся вокруг: сиротские стены были пусты, синяя ночь прильнула к окнам.

— Она одна здесь живет? — спросил Гричак, тоже бледнее.

— Нет, с дедом, — безразлично сказал Яша. — Он на маяке. Трудно им, но приезжают рыбаки... — Он почему-то осекся и подмигнул нам.

Я посмотрел ему в глаза. Яша подмигнул снова и положил мне на плечо свою тяжелую руку.

Мы достали все деньги, которые были у нас, и положили на стол. Девушка смотрела в окно. Ночь отражалась в ее глазах, взгляд ее блуждал где-то далеко, за этими черными стеклами.

— Что ж, пора и прощаться, — сказал бодман.

Мы двинулись к двери. Кажется, хозяйка не верила, что мы уходим.

...Мы шли к морю, ни о чем больше не говоря. Еще пылали верхушки тополей, хотя ночь уже наполнила долину. Запах моря был сладок и свеж...

Девушка догнала нас у первых скал. Она взяла нас за руки и почти насильно повела на пригорок, откуда был виден маяк.

Короткий зеленый луч вспыхивал и угасал. Мы следили за ним некоторое время. Мы не заметили сначала здесь, на склоне, нескольких деревянных крестов. Они стояли тесным рядом, почти сцепившись друг с другом, как живые, но под ними не было могил. Так хоронят моряков. Это была крепкая семья: три сына и отец. Уходя на лов, они пили такое же вино, и в их сердцах полыхал такой же огонь. Так хоронят надежду на возвращение. Только год назад, на скалах, девушка ждала их. Потом вместе с дедом она поставила эти кресты здесь, на пригорке, откуда виден свет маяка... Мы сняли фуражки и долго смотрели на маяк, объятый синей тишиной ночи. Вспыхивала и угасала синяя полоска света. Черные свечи тополей все еще горели во тьме.

Я знал: теперь девушка должна была уйти с нами. Никаких объяснений, никаких слов, просто чувство братства; и я не подумал, и никто из нас не подумал о том, что у самого моря, на гребне берега, там, где от соленых ветров лежит длинная белая полоса, есть еще линия, стена, ложь границы, — когда между нашими сердцами ее нет. Я взял руку Марии, и она пошла с нами. Яша провожал нас.

Мы долго шли к морю, и после, на корабле, до самого родного города мы слышали ее певучий голос и смех. Мы неразлучны с Марией с тех пор.

...Я подхожу к перилам. За бортом плещет серая волна. Море совсем прозрачно, неощутимо почти...

— Мария!

Под палубой глухо и упрямо бьется сердце машины.

Я жду. Слушаю. Напряженно идут минуты тишины.

Что-то нежное и теплое греет мою ладонь. Я разжимаю руку. Апельсиновая корка лежит в моей руке.

По горизонту пролетают синие вспышки света.

— Хорошо, Мария... до встречи на той, родной, без границы, земле!

...Я прячу апельсиновую корку и осторожно прикрываю крышку сундучка.

АЛОЭ

Ветку алоэ мне подарили на Периме. Есть такой остров у самых «Ворот Слез»¹. Ночью, когда крепчает муссон, здесь можно слышать гул океана. Он близок и ощутим даже по вкусу ветра, по резкой свежести, по густой соли.

Перим просыпается на заре. Бухта и скалы берега еще черны, но уже поют грузчики на баржах. Песни Аравии, может быть, самые грустные на свете. Они грустны, как ее мертвые берега. Стоя на вахте, я слушаю их до самого восхода, желтого и скупого, — этого отражения пустыни в небесах.

С восходом приближается песня, ее поют, словно рыдая, черные угольщики на баржах. Баржи швартуются к нашему борту, поднимается длинный помост, и, не прерывая песни, торопливо, один за другим, люди бегут к трюму с пыльными корзинами за плечами.

Утро быстро теряет розовый цвет; воздух становится желтым от зноя; накаляются палубы; из пазов, из обшивок текут струи клея и смолы.

Вся команда ютится на спардеке, под тентом. Кубрики опустели: там сорок градусов жары. Уже четыре дня мы паримся в этом пекле. В Красном море нас крепко потрепал шторм. Два дня мы исправляли рулевое управление и донжи. Только к ночи закончится погрузка угля. Вахтенные с нетерпением поглядывают на небо — солнце едва поднимается к зениту, — хотя бы скорее шло время!

Завтра утром, наконец-то, в океан. Нам чудится гул океана. Видно, как над скалами, на востоке, льется густая синева.

Но напрасно все чаще я захожу в штурманскую рубку взглянуть на часы: стрелки, кажется, слиплись от зноя. Над палубой жаркой тучей клубится угольная пыль. Печально и хрипло поют арабы.

— О чем они поют? — спрашивает меня подвахтенный матрос Степанов. — Я, знаешь, часто думаю об этом. Есть ли в этой песне слова?

С палубы на спардек подымается наш постоянный гость Абу-аль-Фариде, книжник и философ.

— Вы не знаете, о чем они поют? — говорит Абу-аль-Фариде. — Они поют о счастье.

Мы отыскиваем тень на палубе и садимся на маты послушать Абу-аль-Фариде. Он неплохо знает русский язык.

¹ «Ворота Слез» — Баб-эль-Мандебский пролив.

— Да, они поют о счастье, — говорит он задумчиво, и его черное, живое лицо становится сосредоточенным. — Наши песни живут тысячи лет. С этими песнями арабы штурмовали еще Карфаген и Константинополь.

— Уж больно печальные они, — удивляется Степанов. — Не поймаешь, поет или плачет человек.

Абу-аль-Фариде думает несколько минут. Он смотрит вдаль. К берегу катится прозрачная волна.

Свистнув гибкими крыльями, падает чайка.

Он поднимает курчавую голову, слушает; песня на барже почти переходит в крик.

— Нет, они очень хороши, — говорит он убежденно. — Человек наполняет песню собой, как молитву. Он сам — только росток на древнем корне. То, что пели Гафиз, или Омар Хайям, или Фирдоуси, — на Востоке не просто поют, но продолжают.

Постепенно вокруг Абу-аль-Фариде собираются матросы. За эти четыре дня все мы привыкли к «земляку». Но больше всего он любит спорить с нашим радистом Васей. Вася знает арабский язык. Как только Вася появляется на спардеке, гость торопливо встает, кланяется и говорит вместо приветствия:

— Я снова думал о том, что вы сказали вчера.

Вася краснеет от смущения, он в два раза моложе «земляка». Всей витиеватой мудрости древних имен и книг он может противопоставить только краткий курс политграмоты. Но они спорят до хрипоты, и вечером араб уходит озадаченный и возбужденный.

— Когда я спорю с ученым арабом, — говорит Абу-аль-Фариде, — я пробираюсь сквозь заросли пустыни. Когда я спорю с вами — я иду по скалам, и мне страшно упасть.

— Ну что ж? — улыбается Вася. — На скалах — оно прочней.

Мы с интересом слушаем беседу, не вмешиваясь, — этого не любит гость. Но Вася говорит коротко и понятно, и наши одобрительные улыбки все время раздражают араба. Он внимательно следит за нашими лицами, и, если Вася долго подыскивает ответ, в черных глазах гостя вспыхивают маленькие хитрые огоньки.

Абу-аль-Фариде начинает спокойно, полузакрыв глаза:

— Вы говорите — собственность. Это слово никогда не было знаменем Востока. Было и есть одно только знамя — аллах.

— Гм... да-а... — трудно вздыхает боцман.

Абу-аль-Фариде не поднимает глаз.

— Иначе как можно объяснить, что через двести лет после Магомета арабы, завоевавшие мир, вернулись в Неджед и Геджас? Что принесли они? Ничего, кроме своего благородства. Путь наш повторится. Об этом сказал еще великий Ибн-Халдун. Он снова пройдет через Мекку.

Вася досадливо морщится.

— Экая поповщина! — говорит он. — Куда же приведет эта дорожка?

— К счастью.

— А какое оно?

Абу-аль-Фариде медлит; в черных глазах угасают огоньки.
— Это известно аллаху. Когда люди верят в чудо, оно приходит.

Вася отвечает рассудительно и спокойно:

— Во-первых, скучно жить, если сам человек не знает ничего. Во-вторых, ваши же буржуи продадут вашу страну.

Лицо Абу-аль-Фариде еще больше темнеет; оно становится совершенно черным от гнева. Он сдерживает себя.

Белое покрывало падает с плеча.

— Араб никогда не предаст араба! Почему? Потому что история нашей совести идет от незапамятных времен Саргона и Гудеи!

Боцман громко смеется и, как после чарки, вытирает усы. Абу-аль-Фариде с изумлением оборачивается к нему.

— Ну и припер ты его, Васька, — гудит боцман. — Про совесть заговорил. Был у нас под Херсоном совестливый поп. Наши в село — а он с пулеметом на колокольне сидит, стерва...

Вася густо краснеет, ему неловко за боцмана — старик слишком прям.

— Это совсем другое дело, Иваныч.

— Да я так только, к слову...

— Не понимаю! — изумленно говорит Абу-аль-Фариде.

Песня на барже то стихает, то становится громче, она бесконечна и безрадостна, как пустыня вокруг. Мы молча слушаем ее, глядя на берег бухты. Черные, без крыш, мазанки ютятся на бугре. Поселок похож на пожарище. Густыми струями над ним течет зной. Но выше, над серыми вулканическими оползнями скал, все еще брезжут отсветы океана.

— Печальная земля, — заключает кто-то из матросов.

Песня умолкает на минуту, и в тишине мы вдруг слышим испуганный человеческий крик.

Абу-аль-Фариде вздрагивает, приподнимается на колени.

— Что-то случилось, — говорит Вася и бросается по трапу на мостик.

С палубы поднимается вахтенный штурман Стрельцов. Он чем-то расстроен, губы его дрожат, на полных юношеских щеках выступают красные пятна.

— Где радист? — спрашивает он издали и, заметив Абу-аль-Фариде, направляется к нам. — Я очень прошу вас, — говорит он взволнованно, — передать этому надсмотрщику, что у нас запрещается бить людей. Запрещается, хотя бы и не наших подданных... что мы в последний раз его предупреждаем. Иначе... мы его самого вышвырнем на баржу!

Абу-аль-Фариде вежливо кланяется в ответ. Он заметно смущен. Пальцы его мнут край покрывала.

— Лучше бы не делать этого, — наконец говорит он, и черное лицо его опять становится неподвижным. Теперь все мы смотрим ему в глаза. Они снова спокойны и тусклы. — Что знаем мы? — говорит он печально и нараспев. — Мы знаем путь неизбежного, люди.

— Ну, проповедничек, — раздраженно гудит боцман. — Араб не предаст араба?..

— Я прошу передать, — наставляет Стрельцов.

— Хорошо, — так же спокойно соглашается Абу-аль-Фариде. Он медленно поднимается и идет к трапу, высоко и прямо неся свою черную голову на неподвижных плечах.

Я и Степанов идем вслед за ним.

Над палубой клубится знойная пыль. Голые черные люди бегут бесконечной вереницей. С баржи, вверх по мосткам, плывет долгий, тоскливый крик. На мостках, у самого борта, стоит высокий, одетый в грязный халат араб. В его руке бамбуковая палка. Он один спокоен над этой черной сутолокой нищеты.

Абу-аль-Фариде подходит к надсмотрщику сзади, осторожно кладет на плечо ему руку. Тот быстро оборачивается: у него длинное, сухое, как у мумии, лицо с желтыми оскаленными зубами. Нам непонятно сначала: он смеется или до крайности разозлен. Они говорят несколько минут, и мы издали следим за изумленным лицом араба. Да, он смеется, изумляется, с ног до головы разглядывая Абу-аль-Фариде.

Низко наклонив головы, люди бегут к трюму, плечи их косявые, глаза полузакрыты. Они не останавливаются ни на миг, и только в краткие перерывы, когда, обессилев, умолкает песня, слышно их тяжелое дыхание и еще — слабый плеск моря.

Надсмотрщик значительно выше Абу-аль-Фариде. У него длинная, крепкая шея и что-то птичье в замедленном повороте головы. Мне видно, как под кожей его сокращаются пухлые шейные жилы. Он все еще слушает Абу-аль-Фариде, но узкие глаза его косят вслед торопливым сгорбленным спинам.

Движение неожиданно замедляется на несколько секунд. Молодой беззубый араб останавливается на площадке помоста. Он смеется и никак не может удержать корзину на плече. Вдруг он протягивает вперед руки. Он похож на слепого. Он ощупывает воздух, как стену. С шумом корзина катится вниз. Подняв руки и все еще смеясь, весь в черном поту, он опирается на эту невидимую стену, и она внезапно рушится перед ним. Так он и падает навзничь с неподвижной беззубой улыбкой на лице.

Палка взлетает прямо над головой Абу-аль-Фариде. Он поворачивается и медленно сходит на палубу, все так же бережно неся свою черную голову над шатким помостом. Белое покрывало сползает с его плеча.

Песня не затихает и теперь. Она звучит еще громче. И, качнувшись от удара палки, маленький седой грузчик нерешительно переступает через голову молодого араба.

Я и Степанов бросаемся на помост. Брови надсмотрщика переламываются от гнева. Он визгливо кричит, весь сведенный судорогой, когда Степанов хватает его за плечо. Я вырываю палку и швыряю ее далеко за борт.

Сразу все останавливается вокруг. Становится очень тихо. Слышно, кажется, как на брезенте оседает угольная пыль.

С мостика доносится голос Васи:

— Правильно, ребята! Я предупреждал его, подлеца...

И одновременно неожиданно резкий голос Абу-аль-Фариде:

— Не смейте этого делать!..

Мы поднимаем грузчика и несем его к мачте, в тень.

Арабы уступают дорогу, они идут вслед за нами плотной молчаливой толпой, они окружают товарища, и над палубой несколько минут стоит знойная тишина, в которой слышно только сдержанное дыхание и слабый плеск зыби. В этой долгой, томительной тишине явствен, физически ощутим какой-то близкий предел. Вот, еще минута — и что-то случится.

Но теперь надсмотрщик приходит в себя. Он хрипло ругается, грозит нам кулаками и через несколько минут уезжает на берег, к губернатору, с жалобой на нас. Почему-то вместе с ним уезжает и Абу-аль-Фариде.

Вечером на лоцманском катере английский чиновник приезжает для объяснений с капитаном. У него зеленое от малярии лицо. Он пьян. Вахтенный едва удерживает его на трапе.

...Мы стоим на палубе, глядя на берег, погруженный в закат. Он медленно опускается под тяжестью ночи.

Проходя вдоль палубы, боцман останавливается у перил.

— Гляди-ка, ребята... — шепчет он удивленно, и руки его впадают в поручни.

Внизу, на корме катера, стоит высокий полисмен-араб. Заметив нас, он поспешно отворачивается, но я успеваю узнать черное неподвижное лицо Абу-аль-Фариде.

— ...Шпион... стерва!.. — гремит боцман, поднимая тяжелый кулак. Полисмен отворачивается и торопливо сходит в рубку катера, прямо неся свою черную голову в белом шлеме.

...На восходе мы поднимаем отходный флаг. Я стою у штурвала. Без порывов, сплошным дыханием, с океана идет муссон.

С мостика раздается звонкий голос штурмана:

— Вира... якорь!

— Есть! — откликается боцман, и, громяхая якорными канатами, корабль разворачивается навстречу заре.

Черный поселок угольщиков остается за кормой. Медленно плывет выжженный берег. Он мертв. И все мертво вокруг в желтом, тяжелом тумане: дальние причалы, баржи, даже прибой. И только впереди, за мысом, пенится высокая зыбь.

Мы проходим у самых скал, и вот всем телом я ощущаю первый слабый рывок волны.

Неожиданно из-за скалы наперерез нам выносится легкая белая шлюпка. Круто кренится парус и, затрепетав, опадает совсем. На корме, у рулевого весла, широко расставив крепкие ноги, стоит высокий голый араб. Он что-то кричит нам, размахивая руками, и, ловко подрулив, цепляется за штормтрап. Судно не замедляет хода. К фальшборту подбегает Вася. Они говорят о чем-то несколько минут...

Я беру лево руля, серый мыс остается позади, он тяжело движется, как заслон, наглухо закрывая страшную бухту.

Высокая зыбь швыряет шлюпку. Вслед нам араб еще долго машет руками. Издали кажется: он хочет лететь.

Мы входим в пролив. Берег Аравии желт и пустынен. Справа дымится Африка; прямо — сплошной, без горизонта, океан.

Вскоре Вася приходит в рубку. В руках у него какая-то запыленная ветка без листвы. Он внимательно разглядывает ее, улыбается, качает головой.

— Вот так подарок, — говорит он весело и кладет ветку на стол. Я не верю сначала. Но Вася громко смеется.

— Это тебе. От араба... От того, что вчера на погрузке упал. Что бы это означало? Не понимаю.

Он думает несколько минут.

— «Дерево — алоэ называется. Запомни, — говорит араб. — Алоэ!» Я думал, он шутит, хотел выкинуть, — так он затрясся, руками замахал... Ну, мудрецы эти арабы...

К вечеру вся команда узнает о «подарке». Мне и Васе достается на этот раз. Больше всех шутит боцман, вспоминая ученого шпика Абу-аль-Фарида.

— Эй ты, философ! Где твоя ветка?.. — громко хохочет он.

Проходя мимо, сдержанно улыбается капитан. Он тоже уже знает о «подарке».

Разозленный Вася уходит в каюту и закрывается на ключ. Но и там ему не дают покоя. Кочегар Сердюк уныло дежурит у двери.

— Отдай, Вася, дрова... топить нечем!

Мы сидим на спардеке, когда Вася опять появляется среди нас, сияющий, с большим черным словарем в руках.

Боцман снова трясет усами, но Вася идет прямо к нему.

— А ну-ка, старый морж, послушай, — говорит он и, раскрыв книгу, читает нараспев: — «Алоэ — растение пустыни, остающееся серым и чахлым в течение сотни лет, — слушай, старый морж!.. — но затем внезапно дающее куст огромных красных цветов...» Ну, старый крокодил?..

На палубе становится тихо. Мы все оглядываемся назад. В рыжем пламени солнца, в песчаных ветрах лежит большая, древняя страна.

С юга сплошным дыханием идет муссон.

Глубоко, под самым килем, слышно упругое движение океана.

Мы еще долго смотрим вдаль, жмурясь от большого низкого солнца.

— А какое слово, — вдруг изумленно говорит боцман. — Алоэ! Сигнальное слово, ребята...

Есть такой остров — Перим, у самых «Ворот Слез». Ночью, в настроженной тишине, там явственно слышен гул океана.

В Адене нас попросили взять пассажира до Сокотры. Мы шли в Коломбо. Дикая, пустынный остров Сокотра, расположенный на востоке от мыса Гвардафуй, лежал на нашем пути. Пассажир оказался сторожем маяка, и только поэтому, из чувства морской солидарности, капитан принял его на борт нашего грузового корабля.

Вечером пожилой, небритый, сопровождаемый пятью носильщиками человек подъехал на катере к трапу «Большевика». Ему отвели каюту, и он до поздней ночи укладывал свои чемоданы, покрикивая на арабов, угрюмо пыхтя длинной трубкой. Потом он поднялся на спардек, неся в правой руке бутылку виски, в левой — большую пачку табаку. Его, видимо, очень озадачило, что матросы отказались пить. Тогда он выпил сам и сразу же начал рассказывать о себе.

— Моя фамилия О'Коннер, — сказал он. — Я родился в Дублине. Мой прадед, дед и отец — все родились в Дублине. Там у нас целая династия О'Коннеров. Но вот уже семь лет я скитаюсь в этих пустынях, как пророк. Даже акридами питался.

Он оглянулся на город, слабо озаренный светом, на пристань, увешанную тусклыми фонарями.

— Курортный городишко этот Аден, а? Будь я трижды проклят, если вернусь когда-нибудь сюда. О'Коннерам всегда везло. Мой дед спас горевшую нефтянку. Отец получил медаль за войну с бурами. А я вот получил маяк — это целое государство, не шутите...

— Сколько же там народу, в этом царстве? — спросил кто-то смеясь.

Ирландец тоже усмехнулся.

— Не знаю. Этого никто не знает. Два года подряд там жил Джонсон. Мы вместе голодали, но сейчас у его семьи на счету двадцать тысяч долларов. Он был ловкий парень, этот Джонсон.

— Значит, он просто обирал негров? — спросил боцман.

Ирландец внимательно посмотрел на него. В его взгляде было безразличие и усталость.

— Не знаю, — сказал он спокойно. — Если даже так, об этом не стоит вспоминать, — мертвые сраму не имут.

— Смотря какие мертвые...

— Он недавно умер, Джонсон... Все говорят: умер, но все прекрасно знают, что его просто... съели дикари. Вы... кажется, смеетесь?

— Да, — сказал боцман.

— Вам не жаль... белого?

— Ни капельки не жаль. Я только вот думаю... а вам не боязно?

О'Коннер снова оглянулся на город. Веки его часто мигали. В тусклом свете электрической люстры, поднятой над спардеком, его неподвижное длинное лицо казалось смертельно бледным.

— У меня три маузера в чемодане и две тысячи патронов, — ска-